МИХАИЛ СИВАЧЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

СО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ
Г. ЯКУБОВСКОГО
И ПОРТРЕТОМ АВТОРА

ТОМ ПЕРВЫЙ

МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

И 186/117

МИХАИЛ СИВАЧЕВ

ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ

ПОВЕСТЬ

БУНТ

ПОВЕСТЬ

ПУБЛ. БИБЛ. имени В. И. ЛЕНИНА С.С.С.Р.
28-37/103

МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

Обложка работы художника Соколова-Аси.
Супер-обложка: набор выполнен в гос. типографии им. Евг. Соколовой. Отпечатано в гос. типографии им. Евг. Соколовой.
Ленинград, пр. Кр. Командиров, 29
в количестве 4.200 — 15 листов
Главлит № А 5060
Заказ № 815.
MCMXXVIII

Г. ЯКУБОВСКИЙ

ПИСАТЕЛЬСКИЙ ПУТЬ МИХАИЛА СИВАЧЕВА

ЧИТАТЕЛЬ!

Сообщи в Издательство (Москва „19“, ул. Герцена, 22, „Московское Товарищество Писателей“) свой отзыв об этой книге, а также не забудь указать и ее технические недостатки.

Отношение дореволюционной критики к Михаилу Сивачеву было, за немногими исключениями, резко отрицательным. Современному читателю даже трудно себе представить, какой протестующий шум поднялся среди литераторов разнообразных направлений, когда появилась книга Михаила Сивачева „Прокрустово ложе“ (1911 г.). От беспринципного Чуковского до народника Иванова-Разумника с большим озлоблением обрушились присяжные критики на „бездарного“, „неблагодарного“, как они величали писателя, выступившего с записками о литераторах. Ярая реакционерка Гиппиус даже пустила в ход новое словечко — „сивачевщина“.

Записки М. Сивачева носят характер исповеди. В них вскрывается оборотная сторона того мира, где снаружи все было прилично, где царили „имена“, авторитеты, многим из которых настоящая цена только теперь стала известна. В то время исповедь М. Сивачева о бедствиях пробивающегося в литературе пролетарского писателя произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Разумеется, нельзя отрицать, что „Прокрустово ложе“, написанное больным рабочим, потерявшим трудоспособность на производстве, озлобленным лицемерием и равнодушием буржуазной интеллигенции, заключает в себе ряд нездоровых моментов. Но неправы те из нынешних критиков, как, например, А. М. Клейнборт (см. „Очерки народной литературы“), которые видят только эту болезненную сто-

рону исповеди М. Сивачева, преуменьшают ее общественное значение, подхватывают словечки Гиппиус. В болезненной форме двутомной исповеди излилась сложная психологическая гамма разнообразных чувств, объединенных основным движущим порывом — протестом против отрицательных сторон буржуазной культуры, против лицемерия ее идеологов. Сущность „Прокрустова ложа“ прекрасно понял Л. Толстой: — „очень интересная книга“, — сказал он, дав, таким образом, книге положительную оценку, вопреки воплям литературных заправил. Значение книги заключается еще в том, что М. Сивачев первый так определенно, хотя и с болезненными мучительными подробностями своих страданий, показал, что буржуазная культура в лице ее представителей по отношению к пролетарию зачастую является тем легендарным прокрустовым ложем, на котором еще предок нынешних капиталистов, провозвестник нынешних культурных методов, укорачивал или растягивал свои жертвы. Хотя протест Сивачева ослабляется тем обстоятельством, что он выступает как одиночка, болезнью оторванный от класса, (он сам называет себя „раздавленным“), ушедший от политической борьбы, но самый факт выступления в такой определенной форме говорит за то, что обличительные речи пролетарского писателя против господствующего класса не были случайным настроением. История злоключений начинающего писателя, обивание порогов литературных знаменитостей, маленькие успехи, большие неудачи, горькие разочарования — все это характерно для целого ряда тех пролетарских и мелкобуржуазных слоев, которым приходилось близко сталкиваться с буржуазной интеллигенцией. Истерическая история, рассказанная в „Прокрустовом ложе“, типична, как история пробивающейся „мелкой сошки“, того „маленького чело-

века“, который в нашем рабском прошлом всегда гнусно третировался сильными мира сего. Верхний этаж дореволюционного общества, слой людей „культуры“, был перегружен крепостническими навыками и давил на бесправные массы, лишенные каких бы то ни было путей к улучшению своей жизни. Впрочем, был один верный путь, по которому массы и пошли, но как-раз об этом пути — о революции — мы ничего не найдем в „Прокрустовом ложе“. Но это личное, разгоревшееся до размеров бурного социального протеста, свидетельствовало о том, что много горючего материала накопилось в нижних классовых этажах. Это понял Блок, в связи с книгой Сивачева чутко писавший о грядущей революции, о том, что — „кровь и огонь могут притти и заговорить“.. Прежде чем обратиться к рассмотрению сущности „Прокрустова ложа“ следует остановиться на одном факте, облегчающем понимание идеологии автора обличительной книги. Первый выпуск „Записок Литературного Макара“ (1910 г.), как первоначально называлось „Прокрустово ложе“, открывался предисловием автора. Это вступление определяет задачи „Записок Литературного Макара“, оно направлено против „кабинетных радетелей“, т.-е. против буржуазной интеллигенции, обращаясь к которой автор говорит: „Кабинетные радетели, не трогайте народа. Довольствуйтесь ролью быть представителями буржуазии и... не трогайте народа... „Народ определяется во вступлении как „темная, огромная коллективная личность“, которая еще вынашивает своего бога и, когда выносит — не выдаст его, сумеет его отстоять“. О задачах записок говорится следующее:

„Культура одной стороной кажет нам прогресс, другой — регресс. Мы регрессируем страшно. — И в лице кого? Если бы я теоретически пытался доказать, что люди

с мировыми именами более жестоки, чем дикари, я сознаю, что мне это бы не удалось. Мы прогрессируем к атрофии души человека, самые лучшие люди из нас неспособны видеть, что „ад мостим мы добрыми намерениями", что прежде чем человека сразу бы добить, мы его еще растянем „на прокрустово ложе". Это я и хочу своими записками доказать". В этих высказываниях проявляется двойственный характер авторского credo. Выступая против буржуазной интеллигенции, говоря от имени „народа", М. Сивачев не ставит вопрос о революции и ее движущих силах, неясность общественной позиции, многочисленность затронутых вопросов, страстность тона, начитанность автора, характеризуют предисловие к „Запискам литературного Макара". Здесь сжато изложено и не плохо обоснована сущность всего „Прокрустова ложа".

Среди различных социально-психологических моментов обвинительного акта против буржуазной интеллигенции, каким является „Прокрустово ложе", необходимо отметить следующие. М. Сивачев считал литераторов „солью земли", наделял их в своем воображении высшими качествами, фетишизировал их, придавал чрезмерно большое значение авторитету литературных знаменитостей. Это — крупнейшая его ошибка, так же, как и требование внимания к себе, внимания и заботы, которых капиталистическое общество не дает рабочему, потерявшему трудоспособность, да еще революционно настроенному. При наличии литературного дарования М. Сивачев полагал, что он имеет право на большее, нежели любой, выброшенный производством калека. Иллюзии эти были жестоко разбиты. Как разбивались они, как разлетались вдребезги литературные кумиры, как разоблачалась либеральная болтовня „радикалов", в роде Григория Петрова и других „демократических" душонок, неспособных к подлинному

революционно-демократическому делу — об этом рассказывает книга „Прокрустово ложе". Обвинительный акт подтвердился историей. Октябрь вскрыл органический порок даже наиболее радикальных слоев интеллигенции — ее боязнь революционного дела. Ненависть к ее грехам была ненавистью священной, движущей к подвигу. Таким подвигом представляется фанатическая преданность М. Сивачева литературе, его мучительная напряженная работа в труднейших условиях, самоотверженность, с которой он отдается любимому делу. Характерно, что обличая интеллигенцию, Сивачев не раз бичует и себя. Происходит это по той простой причине, что, вступив в литературный мир, став профессиональным писателем, он, быть-может, незаметно для себя усвоил некоторые отрицательные черты, общие всему тому слою, слиться с которым так мечтал. Такими чертами являются недостаточная чуткость к людям, непоследовательность, преувеличенные требования к людям и т. п. Таким образом, исключая личные отношения автора к писателям (подробности которых не имеют для нас значения), в основном „Прокрустово ложе" заключает в себе ряд важных социально-психологических моментов, характеризующих некоторые стороны предоктябрьской эпохи.

Для того чтобы разобраться в сложном субъективном клубке, каким является „Прокрустово ложе", необходимо познакомиться с обстановкой, в которой писалась книга, с жизнью писателя, с обстоятельствами, не отделимыми от книги. Как писались нашумевшие „обнаженные записки", об этом Сивачев рассказывает следующее:

— „Почти все шесть лет, которые прошли до появления „Прокрустово ложе", были годами **невыносимой нужды**. А в конце-концов, уже — буквальная безвыходность. Ничего иного, как свести

счеты с жизнью, не оставалось. Это уже во второй раз: до этого я уже пытался—но неудачно. Вот тут-то и подвернулся случай“.

Подвернулся издатель, взявший записки, которые автор предполагал переработать в роман.

— „Мне уже нечего было терять, не на что было надеяться и я решился на издание записок „Прокрустово ложе“, в том обнаженном виде, в каком они есть. Так появился первый выпуск „Записок литературного Макара“ — в два печатных листа“. (Подчеркнуто здесь и выше мною. Г. Я).

На эти выпуски была объявлена подписка, не имевшая успеха. Затем неожиданно приходит успех, с ним — новый издатель и поддержка со стороны „Русских Ведомостей“. Последний факт необходимо отметить. Наиболее деловая часть буржуазной интеллигенции в лице „Русских Ведомостей“, вопреки отрицательному отзыву критики, поняла значение „Записок“ и оказала их автору поддержку.

От момента появления „Прокрустова ложа“ в 1911 г. нас отделяет довольно большой отрезок времени. Как же теперь оценивает автор свою книгу, оглядываясь на прошлое? Помимо того, что было отмечено выше, надо еще остановиться на следующем обстоятельстве. Когда первые выпуски „Записок“ приобрели успех, работа над их продолжением принимает исключительный характер.

— „Новый издатель, памятуя, что надо ловить момент, гнал меня в работе, и я в два месяца выбросил 15 печатных листов. Дописывая последние листы, я падал в обмороки от переутомления. Конечно, при такой работе не могло быть речи о какой-либо основательной продуманности и о тех-

нической стороне того, что сегодня писалось, а завтра уже печаталось“.

Признавая психологическую обнаженность записок, их субъективизм, недостатки их формы, сырой, неотделанной, о сущности своей спешно выполненной работы, о ее содержании, Михаил Сивачев в настоящее время в автобиографическом письме высказывается следующим образом:

„В книге, за которую меня ненавидят поныне, я с первой же строки сказал, — да еще в какое время, — проклятие капиталу“.

„Правильно ли был поставлен мой прогноз? Правильно. Ведь все те лица, о которых я отрицательно отозвался в „Прокрустовом ложе“, — все они очутились с начала революции в белогвардейском стане“. „Прокрустово ложе“ — пусть она плохая, сырая книга, писанная при тяжелых условиях страшно наспех, но из всего написанного мною (а это написанное я тоже считаю плохим, недоработанным, ибо нужда была всегда моим спутником) я ее считаю лучшей своей книгой. И если судьба будет ко мне благосклонна и позволит создать действительно крупные художественные произведения, — „Прокрустово ложе“ останется для меня самой дорогой книгой“.

Ограничиваемся этими выписками из высказываний Михаила Сивачева о себе, так как они достаточны для ряда выводов. М. Сивачев прав, когда указывает, что данные им моральные оценки представителей литературного мира, были подтверждены последующими событиями по отношению, если не ко всем этим представителям, то к большинству их. Но Сивачев глубоко неправ в оценке своей книги. „Прокрустово ложе“ нельзя назвать ни плохой,

ни хорошей книгой, если оценивать его со стороны художественной. „Прокрустово ложе“ имеет большое значение в качестве психологического документа, дающего материал для изучения литературного быта до Октября, настроений промежуточных междуклассовых слоев, для понимания идеологического и производственного механизма буржуазной литературы. М. Сивачев — один из первых представителей пролетарской интеллигенции, передовик, культурный одиночка; тяжелая болезнь оторвала его от производства и революционной борьбы, перебросила на литературный фронт, где он один-на-один столкнулся с миром буржуазных журналистов, литераторов, издателей. Результатом этого столкновения и явилось „Прокрустово ложе“.

Называя эту книгу своей лучшей книгой, автор забывает, что в ней религиозные настроения сплетаются с верой в надклассовую литературу и надклассовую правду. Черты мелко-буржуазной идеологии не были изжиты Сивачевым, когда он писал свои записки, они усугубляли страдания его одинокой борьбы. Тем более это обстоятельство необходимо подчеркнуть, что в прошлом он получил производственную и революционную закалку, что М. Сивачев — чистокровный пролетарий. Факты его жизни представляют исключительное значение для понимания творческих путей. Познакомимся с ними.

Автобиография Михаила Сивачева

Родился в 1877 году, в Пензе. Отец и мать были деревенскими людьми, но перебрались в город, где отец стал служить на железной дороге стрелочником. Семья была большая — семь человек детей, а отец получал всего восемнадцать рублей в месяц. Бедность была большая и трудная: всем приходилось что-нибудь делать.

С шести, с семи лет детей уже заставляли работать: разгружать камни на железной дороге таскать воду на пойло перевозимым „по чугунке“ быкам. Позже — уже совсем тяжело. Когда мне было девять лет, — умер отец, когда исполнилось одиннадцать, — умерла мать. В одиннадцать лет я был во втором классе уездного училища, но со смертью матери пришлось училище бросить. К этому времени трое братьев (старших) — разбрелись в разные стороны, откуда изредка присылали грошевую помощь. На меня одиннадцатилетнего легла громадная тяжесть: при мне было три сестры. Одна — моложе меня на три года, другая — старше на год, третья — взрослая женщина, вдова, но вследствие очень тяжелого неудачного замужества — покачнувшаяся: любила выпивать.

Сестренки вязали пуховые платки, зарабатывая от восьми до десяти копеек в день, да и то не всегда, старшая сестра занималась (тоже не всегда) стиркой белья, и не менее половины ее заработка всегда уходило на выпивку, — с чем я сильно боролся, но почти безуспешно.

В эти годы — от одиннадцати до четырнадцати лет — мне приходилось за десять копеек в день подавать заклепки при постройке железно дорожных мостов, потом за тридцать копеек в день сидеть в котлах в роли Гарошинского „Глухаря“. Год такой работы, — у меня не особенно хороший слух на всю жизнь, а до этого года у меня слух был острый. Работал я в эти годы не мало и на бойнях — помогал резникам за подачки мясом и салом.

Остаться на бойнях на всю жизнь, или заниматься всегда какой-нибудь случайной и черновой работой мне не хотелось, и в четырнацать лет я выпросился сам учеником на механический завод. Условия ученичества на этом заводе были чудовищные; пять лет — из них два

года совершенно бесплатно, на третий год — десять копеек в день, на четвертый — двадцать, копеек. И притом, — как в смысле пищи, так и одежды — на полном своем иждивении. Учеников заставляли работать не только по специальности (на токаря или слесаря), но и по всякой черновой работе: убирать мастерские, чистить снег, разгружать дрова, дежурить по неделям при кочегарке, ночуя там же.

Работали в заводе с пяти утра до семи вечера — с перерывом в час на обед. Тринадцатичасовой рабочий день с желудком, который редко был набит до сытости хлебом и картофелем.

Большинство учеников, имевшие отцов, не проявляли большого усердия: прятались в укромных уголках и занимались болтовней. Я не мог позволить себе такой роскоши и усиленно налегал на изучение токарного ремесла (по металлу). В два года я изучил это ремесло так, как иной не мог изучить и в пять лет. Тогда я ушел в железнодорожные мастерские, куда меня приняли с трудом, как ученика, прошедшего ученический стаж вместо пяти лет, только двухлетний, но проба, данная мне, была мной выполнена так блестяще, — она поразила начальника мастерских, — что мне, шестнадцатилетнему мальчишке, было положено невиданное жалованье: семьдесят пять копеек в день. Вместе с процентами и сверхурочными я мог выработать до пятидесяти рублей в месяц. Для такого угла, как Пенза, да еще в то время, это — большие деньги. Горд и счастлив я был месяца три. А затем, — я видел стариков-рабочих, особенно специалистов, зарабатывающих до ста пятидесяти рублей в месяц (стариков, вся жизнь которых от юности до могилы проходила в этих мастерских), таких темных: не менее четверти своего заработка они отдавали на церковь и

попов и сильно этим гордились. Я уже к этому времени почитывал Энгельса и Маркса. Слепота стариков-рабочих мне была нестерпима, и я повел среди них агитацию. До начальства, конечно, скоро дошло, что я из красных и мне начальником мастерских было предложено, что, если я брошу заниматься „глупостями“, „трепать по пусту языком“, он мне увеличит жалованье до рубля. Этот начальник ко мне очень благоволил, удивляясь моей способности к работе.

Рубль меня не соблазнил, „глупости“ я не бросил, и меня уволили за неблагонадежность. Я уехал в Саратов, где несколько месяцев работал тоже в железнодорожных мастерских, а потом — в Петербург, из Петербурга на юг, с юга на Кавказ — в Баку.

Токарем я проработал с шестнадцати до двадцати двух лет. Баку — это последнее место, где я работал. С восемнадцати лет во мне загнездился ревматизм и к двадцати двум годам я уже был, как рабочий, никудышник: ревматизм страшный, хронический. К тому же еще с тех пор, еще с восемнадцати лет, я был под негласным надзором полиции, а в двадвать два года он уже перешел в гласный: больной неспособный к труду я очутился на родине в Пензе, без права выезда на два года.

Тут ко мне и пришло серьезное влечение попытать себя на литературе. Тяга к сочинительству во мне появилась с восьми лет: прятался в саду и сочинял стихи. Писал стихи и позже, писал и прозу (протаскивал начальство), которые читал рабочим.

Но всему этому я не придавал серьезного значения. Как я стал писать — об этом в „Прокрустовом ложе“.

М. Сивачев начал с полуграмотных, бесформенных опытов, над которыми издевались веселые литераторы. Он работал много, упорно, его рассказы стали печататься, но в недрах редакций по небрежности погибала значительная часть произведений. Весь мучительный путь, пройденный писателем до появления „Прокрустово ложе“ и рассказанный в этой книге, представляет первый самый трудный пориод литературной учебы и борьбы за признание. Последующие литературные успехи писателя говорят о несомненном движении вперед и прежде всего о том, что „Прокрустово ложе“ — не принадлежит к числу лучших книг М. Сивачева, хотя эта книга сыграла определяющую роль в творческом развитии писателя.

„Прокрустово ложе“ с его формой торопливой исповеди оказало значительное влияние на последующее творчество М. Сивачева вплоть до его последних произведений. Лучшие работы писателя: „На переломе“, „Бунт“, „Юность“, „Черное сердце“ характерны особым тоном интимной полубеседы, полуисповеди, что является отличительной чертой первой книги, написанной залпом.

Рассмотрим эти произведения, являющиеся вехами на творческом пути писателя, на пути его движения от крайнего субъективного психологизма „Прокрустово ложе“ — к психологизму реалистическому — повести „Черное сердце“.

„На переломе“ — записки 1915 года, печатавшиеся в „Вестнике Европы“ в 1917 году, — это серьезный труд о деревне, какой она была в годы империалистической войны, труд, дающий чрезвычайно интересный материал о классовом расслоении, о социальных передвижках, о быте и психологии крестьянства военной эпохи. Привычка автора подвергать каждое явление психологическому анализу, подробному, иногда мелочному,

в данном случае оказала ему (автору), да и читателю, серьезную услугу. „Записки“ дают живую картину деревенской жизни, глубоко прощупывают перемены в сельском быту, происшедшие в военные годы. Написаны они в форме рассказа о пережитом, — излюбленная Сивачевым повествовательная форма.

Уже первые строки деревенских очерков вводят читателя в глубину бытовых перемен, показывают развитие детского труда, вызванное недостатком рабочих рук. Война поглотила лучших работников, перебросила всю трудовую „нагрузку“ на плечи стариков, женщин и детей. Деревенский труд, в его новых формах, проходит основным мотивом через всю эту целостную сельскую поэму, которая открывается и заканчивается изображением детей, преждевременно созревающих и увядающих от непосильной работы. Вопрос о судьбах женщины-крестьянки, которую война нагрузила тяжелыми обязанностями, но в то же время повысила ее общественный вес и тем облегчила борьбу с бесправием, этот вопрос освещен в очерках яркими бытовыми сценками, рисующими рождение новой деревенской женщины, ее мужественное отстаивание себя в схватках с дикостью и темнотой.

Вот какова была солдатка Аксинья, несмотря на восьмилетнюю службу в городе, не порвавшая связи с деревней, вернувшаяся к крестьянскому труду, первая в нем работница: „Затянутая в корсет, в зеленом шелковом платье, в лакированных ботинках и с дамскими серебряными часиками на груди, — она шла медленным самодовольным шагом, высоко вздернув голову, украшенную затейливой прической и прикрытую от солнца белым шелковым зонтиком. С довольно красивого лица этой бабы не сходила насмешливо-вызывающая улыбка, —

это был ее ответ всем тем из встречных, которые, судя по косым взглядам, видимо, очень не одобряли такого шика“.

Усвоив внешность городской культуры, Аксинья не растеряла своих крепких трудовых навыков, любви к деревне; пестрый городской наряд — это символ ее самостоятельности, это — вызов старой грязной косной рабской деревне, с которой Аксинье приходится сталкиваться лицом к лицу. Деревенская темнота не прощает Аксинье ее независимости, самостоятельности, ее здоровых убеждений, чуждых старому быту. Аксинья, действительно, бросает вызов рабству не только и не столько своим нарядом, сколько всем своим безупречным поведением и тем, что она лучшая работница. Аксинья не хочет „оглядываться“ на деревенские авторитеты: бога, „старших“, родителей и т. п., она говорит:

> „Ни к чему это! Вы вот по старинке-то, чтобы ни дна вам, не покрышки, на господ больно уж углядывались: пятки им чесали, горбы на них гнули, да жен своих да дочерей в постель им клали! А что за это выслужили? Плевать я на вашу старину хочу. И все вы, черти старые, которые про старину-то нам все уши прожужжали, — лиходеи вы народу, а не люди добрые!“

Не нужно забывать, что это говорится в 1915 году, в разгар войны, когда в крестьянстве только зарождались первые протесты против войны. Речи Аксиньи смелы, правдивы, она несет уже в себе все черты новой женщины, умеющей постоять за себя. Своему свекру, тупому старику Демиду, она дает чувствительный отпор, когда он, ударив ее по лицу, пытается продолжать в том же духе. „Аксинья сильно пошатнулась, но в лице не изменилась: только ее глаза блеснули, как молнии, и раскрылись шире, как-будто от удивления. А Демид уже

вновь занес кулак и, метясь, как бы половчее нанести удар, скороговоркой бросил:

> — Лиходеи мы? А вот за это самое я научу тебя, пока что маленько, а хорошенько потом: — вожжей!.. вож...

Он не докончил. Жестким, хищным ударом ноги в живот, тем страшным по быстроте ударом, когда в первый момент не успеваешь сообразить, отчего один из двух сразившихся врагов уже валяется на земле, Аксинья сбила свекра с ног, и смотря, как он корчится от боли, как пытается что-то вымолвить, но ничего не может произнести, кроме „бу-бу-бу!“ — сказала негромко, но резко, отчетливо: — Вот тебе и „бу-бу!“ Я тебе ни какая-нибудь шлея на манер твоей старухи. Будешь знать, как драться!“

Под стать Аксинье — интересный тип деревенского передовика, кузнец Алешка, будущий большевик, крепыш с квадратным подбородком, также восстающий против деревенского застоя, косности, лени и рабства. В нем есть такая же жестокость в отношении к своим землякам, как у Аксиньи, жестокость порождаемая сознанием силы и правоты. Алешка беспощаден к отрицательным чертам русского характера, резко проявляющимся у его односельчан, он не признает никаких извинений, оправданий, или смягчающих обстоятельств для объяснения язв деревни, особенно достается лени, разгильдяйству, мелкособственнической раздробленности, неспособности к дружной совместной работе. Алешка с восторгом вспоминает Петра Первого — „Вот кому бы бог дал тыщу лет жить. Вот это раб-ботник! Он бы за тыщу лет делов наворотил уйму: у него бы все эти лежебоки да курослепы заплясали не так“. Сам прекрасный работник, мастер на все руки. Алешка любит

труд, считает его основным благом жизни, источником освобождения для угнетенных. Алешка не долюбливает литературу, книжки у него не в почете. Дело для него прежде всего. Здесь Алешка даже перегибает палку настолько сильно, что называет книги презрительно „книжонки“ и чтение их рассматривает как пустое времяпрепровождение. Он говорит убежденно: „Дело, брат, не в этом. Дело в работе. Мало за нее руками держаться — ты в нее еще зубами вцепись. Книжки-то мы вот читаем, а насчет работы, что выдумали: работа, мол, не медведь, в лес не убежит. Дураки да лентяи это выдумали, — чорт бы их не видал! Нет, ты работай, работай, возлюби работу больше отца и матери, вот тогда ты настоящий работник. И если будешь таким настоящим работником — остальное все дело десятое. Тебя гнут, гни и ты того, кто тебя гнет. Сила не берет, — соединяйся с другим, с третьим, с пятым, с десятым, — глядишь, гнутчик-то и согнется, а ты его тогда и раздави“. Алешка не задается вопросом, почему крестьяне не умеют работать, он обрушивается на их некультурность и говорит: „Куда ни посмотришь — лентяи и дураки, а если не дураки и не лентяи, — так трусы. Вот на дураках, лентяях и трусах подлецы и едут“. Алешка зачастую в своей резкости и жестокости упрощает решение вопроса о борьбе деревни за лучшую жизнь. Алешке двадцать два года, в городе у него своя кузница, не даром деревенские старики во время спора бросают упрек ему, что он — „не землероб, а купец“, что, по слухам, на него работают в городе двадцать человек. Все данные у Алешки налицо для того чтобы стать хозяйчиком, дальнейший путь его еще неясен, неизменный призыв и заключение всех его речей: работать надо, работать, — звучит, как хозяйский окрик на нерадивых

мужиков. Не случайно воспевает Алешка в своих речах не только труд, но и палку, он покрикивает на стариков: „Правду-то вы не заслужили, а палку заслужили. Мало вас господа да начальство били: надо было бить больше! Вам не нравится, что палка о двух концах? А мне очень нравится. Хорошо, что она о двух концах! И пора, давно пора взять эту палку в руки мужику. Взять и лупить: одним концом по недругу, а другим по своему брату-мужику. За все: за лень, за пьянство, за слезы ваши, за причитанья: „ах, мол, нужда! Ах, мол, горе! Ах, мол, обиды терпим от всякого чорта-дьявола! Ах, мол, подняться нету никаких сил!“ Здесь мы опять видим, что Алешка в основном прав, но **правда его еще двоится**. Тем и интересен этот тип крестьянского интеллигента, что он — этап на пути к законченному строителю новой деревни. Переходный тип Алешки вводит нас в социальную лабораторию, где сперва война формировала таких крепышей, призванных перестраивать быт, затем революция заканчивала их самоопределение.

Автор „На переломе“ с опаской посматривает на своего героя и признается, что при взгляде на Алешку испытывает „холодок“, пробегающий по спине. Вот какими чертами обрисован Алешка, на которого автор смотрит: „и с уважением, и с изумлением, и со страхом“:

„Его широкий, квадратный подбородок говорил о неукротимой мощи, силе, энергии, зеленые глаза блестели, как у хищной птицы, но самое жесткое в выражении его лица было — это стиснутые, точно от сильнейшей ненависти, зубы. И эти стиснутые зубы у него были всегда даже при работе, кроме тех моментов, когда он говорил.

А говорил он очень редко.

Весь с головы до ног он крепыш, словно высеченный из булыжника, и, казалось, что умом и сердцем такой же жестокий и холодный, как булыжник".

Тип сильного человека, нового человека на селе, носителя культуры, связанного с городом, но не оторвавшегося от деревни, болящего ее интересами, один из редких и любопытных в нашей литературе. Аксинья и Алешка являются такими, почти художественно-выразительными, образами, родоначальниками строителей жизни, действующих в литературе революционных лет. Не случайно поэма о потрясенной войной деревне появилась в 1917 г., в начале революционного десятилетия.

„На переломе" — это ценный художественный документ о деревне накануне революции. В нем запечатлены разнообразные типы мятущейся деревни. Особо следует подчеркнуть отсутствие и тени идеализации деревенского быта, отсутствие той сладковатой мучнистости, которой так часто беллетристы припудривают деревенскую жизнь. Кроме людей крепкой творческой складки здесь зарисован непротивленец брат Александр и его полная противоположность — самогонщик Левонькин, наживающийся на спаивании крестьян, типичный „скоробогач" военной эпохи, мечтающий о покупке „тюрьмо" (трюмо), о „роскошной" обстановке, какая только доступна его ограниченному воображению, едва ли не первый тип самогонщика в литературе, и целый ряд других. Интересно даны споры крестьян о войне и типы вожаков двух „партий" — противников войны и сторонников воевать до конца. Максим Иваныч, осторожный рассудительный старик, выступающий против войны, высмеивающий надежды одолеть германцев „молодецким посвистом", с палкой в руках. Его противник Трофим считает, что надо „поднапрячься", поднатужиться до

последнего. Временами сторонник войны Трофим имеет успех у мужиков, но, судя по тому, как молодежь прислушивается к речам Максима Иваныча, к речам Алешки против старого быта, явственно обрисовывается рост крестьянского самосознания, выступают черты распада патриархальной идеологии. Даже глубокий старик Терентьич признает, что сила на стороне молодежи. Характерны советы Терентьича о том, как надо слушать крестьянские споры, своеобразную речь „брата-мужика", „лапотника", зерно истины прикрывающего шелухой брани. Он говорит: — „У нас так, когда мы разойдемся: пять слов пустых, матерщинных, — их ты мимо ушей пропусти, а шестое-то слово ты лови: оно, кормилец. будет и-и какое дельное!" Типы стариков, Терентьича и Федора Савельича, споры стариков с Алешкой, сцены деревенского быта, все рисующее переломный момент в деревне до времени покорно отдававшей свою силу войне, представляет интересный содержательный материал, воскрешающий эпоху. „На переломе" в этом смысле имеет большое значение, искупающее недостатки этой работы: враждебность к городу в некоторых замечаниях автора, оборонческие настроения, склонность иногда рассматривать деревню, как загадку, в духе тютчевского — „у ней особенная стать". Мало освещено отношение крестьян к земле и к помещику, взгляд на барина выражен в рассказе мужика о помещице, сожалевшей, что мало васильков посадили мужики, не умеющие как следует „сажать" хлеб...

Мысль главного героя „На переломе" Алешки — о том, что палка власти должна бить „одним концом по недругу, а другим — по своему брату-мужику", получает дальнейшее развитие и законченное выражение в другом произведении из жизни деревни, в повести „Желтый Дьявол".

Большевик Иван, фронтовик, поднявший деревню против кулаков, расправляется с кулачеством круто, порка и мордобой — его излюбленные средства борьбы. Иван развивает даже своеобразную теорию насилия, он считает, что „необходимо людей бить“. „Кого кулаком, кого палкой, кого и обстоятельствами, но бить всех необходимо. Бить честного, — чтобы подельнее был, бить вдесятеро жулика, — чтобы честным стал“. Теория у Ивана не расходится с практикой. Выросший в кулацкой семье, управляемой отцом деспотом, пройдя затем в денщиках школу смертного боя, Иван противопоставляет силе — силу и знает, что бороться надо упорно, что враг пощады не знает. Иван борется с кулаками их же средствами, олицетворяя собою стихию озлобления и ненависти, накопившейся в крестьянстве за века угнетения. Иван глубоко ненавидит рабскую покорность, оттого, он убежден, что „революция должна бить направо и налево, чтобы мы поумнели“. Нельзя согласиться с мнением, высказываемым некоторыми критиками, что Иван несет деревне только мордобой и в этом вся его мудрость. Он восстает против своего же отца, мироеда, богатея, и его победа над разоблаченным главарем кулаков революционизирует деревню. Иван один из первых деревенских революционеров, революционеров больше по инстинкту, нежели по сознанию, его примитивная, уродливая теория насилия выкована жестокими условиями существования и вполне достаточна, чтобы произвести первую вспашку в собственническом укладе до-октябрьского сельского быта. О сдвигах в старом быту, о распаде кулацкой семьи, о власти денег, о классовой борьбе в деревне в начале октября повествует „Желтый Дьявол“. Стиль повести местами сбивается на фельетон, натуралистические описания заостряют тему о злой силе собственнических инстинктов. Психологизму, лиризму писателя чужда грубость, в этом смысле „Желтый Дьявол“, при всей правдивости и жизненности повести, стоит особняком среди других произведений М. Сивачева. Натурализм „Желтого Дьявола“ таит в себе опасность, дарование писателя пострадало бы, если бы он пошел по этому пути. Дело в том, что автор, с его методом интимной беседы с читателем „по душам“, погружением в психологические дебри самоанализа и самонаблюдения, в „Желтом Дьяволе“ отступает на второй план и это неплохо, но поскольку же он присутствует, его заметное сочувствие действующим лицам повести отягчает ее натурализм. Когда читаем следующие строки — „Мужику Иван дал три здоровенных затрещины, выругал „болваном“ и отпустил, кулаку несколькими жесткими, рассчитанными ударами разбил в кровь физиономию, наставил под глазами фонари и вынес решение“ (а решение о том, чтобы водить кулака на аркане). Трудно отрешиться от впечатления, что автор разделяет методы Ивана по части скорого суда и молниеносной расправы, все описание сцены этого суда производит такое впечатление. Мужики и бабы радостно приветствуют появление Ивана. Он — „рядом коротких вопросов в три минуты выяснил все, что ему было нужно. А затем приступил к действиям, которые продолжались не более пяти минут“. Нет спора, что в начале октябрьской революции условия гражданской войны требовали быстрых и решительных действий, но трехминутная юстиция Ивана и пятиминутная экзекуция изображаются не как временная необходимость, а как универсальное средство спасения согласно формуле: „бить всех необходимо“.

„Желтый Дьявол“ интересно сопоставить с одним из лучших рассказов Сивачева — „Бунт“.

„Бунт“ — рассказ о событиях на екатеринославском брянском заводе, происходивших тридцать лет тому назад, на заре рабочего движения, рассказ свободен от натуралистических крайностей „Желтого дьявола“. Рабочий быт роднее и ближе автору, нежели жизнь деревни, писатель находит вдумчивые ноты и теплые тона красок для изображения труда и страданий рабочих и стихийного взрыва протеста против угнетения, последовавшего со стороны рабочей массы, выведенной из терпения издевательствами прислужников капитала. Бунт, сопровождавшийся погромами, пожарами, насилиями, дает изобилие материала для натуралистических сцен, однако, автор их счастливо избежал. Чувство меры руководит им здесь. Типы: молодого революционера Вити, старого рабочего Вересая, облик могучего молотобойца, фигура инженера Белоножкина очерчены выразительно. В рассказе прочувствована мощь всей шестнадцатитысячной трудовой массы, ее труд, боль и первые неорганизованные попытки расправить мускулы и стряхнуть нависший гнет. Эта повесть о пробуждающемся пролетариате ценна, как хорошая иллюстрация к истории революционного движения в его начальный период.

Необходимо отметить ряд произведений, стоящих на творческом пути Михаила Сивачева в качестве важных вех, указывающих на разветвления, по которым идет развитие писателя, пробующего себя в разных литературных жанрах. Так, лирическая повесть „Юность“ противоположна сюжетному авантюрному „Федору Быльникову“. Крепко сбитая и насыщенная жизнью „Черное сердце“, быть-может, означает возвращение к психологизму в новой, обогащенной исканиями, реалистической форме.

„Юность“ — повесть о любви и природе, о пробуждении двух юных существ, еще нетронутых жизнью.

Инстинктивная сдержанность распускающейся девушки, чутко управляющей чувствами своего возлюбленного, детская чистота игр и лесных прогулок влюбленной пары переданы психологически верно в форме лирических воспоминаний. Трагический конец повести, гибель девушки, подчеркивает лиризм рассказа, придавая ему характер поэмы в прозе. Не все здесь выдержано и удачно, в этом произведении, имеющем успех у молодежи. Лирический тон временами прерывается холодной рефлексией, рассудочными замечаниями о глазах „женщины, мечущей вызывающие молнии“, что совсем не вяжется с представлением о шестнадцатилетней девушке — о „тайнах природы“, или сентиментальными возгласами о щебечущих птичках. Если бы „Юность“ была написана в форме дневника юноши, а не воспоминаний автора, повесть выиграла бы в целостности настроения, стиль был бы целиком оправдан. Жизненность темы, правдивость сцен и психологического анализа обеспечивают успех бессюжетному рассказу, его сила в сочетании бытовых зарисовок с психической раскраской. Описания природы, сильно прочувствованные, не уступающие по выразительности стиховой речи, хорошо согласованы с юношескими переживаниями, протест против книжной сухости, в которую склонна впадать молодежь (молодняк всегда немного прямолинеен), следует зачислить в актив произведения.

„Федор Быльников — приключенческий роман из эпохи гражданской войны, недурной опыт сюжетной разработки темы. Необыкновенные приключения слесаря, преодолевающего все препятствия в борьбе с контрреволюцией, разыгрываются в бытовой обстановке, которую автор хорошо знает. Есть в романе и перегибы, например попытки представить Быльникова реформатором государственного аппарата. Пожалуй, это перегружает чрезмерными добро-

детелями героическую фигуру рыжего слесаря. К концу роман становится схематичным, что представляет неизбежный удел всех авантюрных романов с благополучным концом. В целом „Федор Быльников“ интересен, как один из первых революционных приключенческих романов с живым сюжетом и обстоятельной бытовой канвой.

„Черное сердце“ — повесть о нефтяных промыслах — многогранная книга, волнующая своей эмоциональной насыщенностью. Газетное сообщение о поселковом строительстве на бакинских промыслах, о постройке города-парка, о канализации, электричестве, водопроводе — вызвало в памяти автора картину прежних промыслов тех дней, когда на них хозяйничали капиталисты. Хаос темной жизни, круто замешанной капиталом на крови, грязи, на хищнической эксплуатации разноплеменной рабочей массы, загнанной сюда крайней нуждой, когда некуда „податься“, вот что представляли из себя промыслы. Рабство азиатского феодального быта переплеталось там с рабством капиталистическим. Тяжские условия труда, жадность мелких хозяйчиков, страсть к наживе, мрак нищеты и забитости в рабочем быту — все эти стороны жизни на промыслах вскрыты глубоко, иногда подчеркнуты сопоставлением с такими картинами, например, как приезд персидского шаха, или со сценкой, изображающей недовольство откормленного джентльмена, негодующего на невыносимую жару, которая заставляет его отказаться от выгодной службы и покинуть Баку. Запоминаются типы рабочих: Василия, Витьки Козлова и Кубичева, в пекле тяжелого труда и угнетения сохранивших отзывчивость, человечность и волю к борьбе за лучшую жизнь. „Черное сердце“ — книга глубоко современная; приподнимая завесу над прошлым, она вводит читателя в творческую сущность наших дней, противопоставляя настоящее прошлому, заставляет почувствовать пафос строительства. В книге бьется нерв великой эпохи.

Писательский путь Михаила Сивачева извилист, неровен, сложен. Линия жизни и линия литературного творчества тесно переплетаются, пересекаются, иногда сливаются неразрывно. Личная судьба писателя временами неотделима от его произведений, она врывается в литературную форму, разрушая ее, кричит о страданиях, болях, напряжениях. Пролетарский одиночка, выступивший на литературном фронте с единственным оружием — волей к жизни и творчеству, прошел каменистую дорогу, но, преодолев все трудности, овладел изобразительными средствами, от бесформенного исступленного крика перешел к литературным формам выражения радостей и болей класса, заставившего его говорить. Путь подъемов и падений, иллюзий и разочарований, ошибок и противоречий, редкого трудолюбия, большой настойчивой работы и успехов, благодаря своей кровной связи с глубиной трудового быта, открывает неожиданные стороны и углы жизни, расположенные далеко от поверхности явлений. Из таких закоулков психологических и бытовых виднее недра капиталистического пекла, огни которого так хорошо освещают зубчатку классовой машины.

Многотысячная толпа на миг понурила головы, а потом ответила хохотом. Было непостижимо ее многотысячное сознание. Никто плана спасения Вити не объявлял, но как великий шахматист, толпа инстинктивно сделала неожиданный и ловкий ход: она разделилась на две стены и со смехом повалила в разные стороны — одна в завод, другая — к рабочей слободе.

Сторожа, по приказу начальства, пытавшиеся было устроить на проходных запор, были откинуты вместе с начальством. Тут было несколько начальников отделений, куча их помощников, и, когда подскакали казаки, начальство взбешенное тем, что было изрядно помято, скопом наступило на старшего казачьего офицера, требуя разыскать во что бы то ни стало „говоруна". Ему описывали внешность говоруна, говоря, что он исключительно красив, что в среде рабочих его легко отличить, но офицер послушал-послушал, посмотрел, какими тучами быстро рассыпаются по слободе рабочие, и развел с усмешкой руками:

— Отличить! Где его искать — на заводе или в слободе? Это уж ищи ветра в поле.

Потом делали обыск на заводе и в слободе, но Вити не нашли.

Завод в эту ночь работал плохо. Вся ночная смена была на своих местах, но слишком много было у рабочих впечатлений, чтобы они могли по-настоящему заняться делом.

Вити не нашли, но с этой ночи слава рабочих этого завода начала расти по югу — между рабочими, как место, где рабочие держатся очень стойко и откуда выходят наиболее деятельные вожаки пролетарского движения, а между присными капитала, как гнездо, где ютится недопустимо беспокойный и строптивый элемент рабочих.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Г. Якубовский — творчество Сивачева	5
Черное сердце	33
Бунт	167